

## Фрагменты из книги А. А. Константиновского «Далёкие голоса»

### ГРОЗНОЕ И ПРЕКРАСНОЕ

*Моим сверстникам*

Отрочество моё и детство брата пришлось на военную пору. 22 июня 1941 года, так уж совпало, я с двоюродной сестрой и сверстницей Галей уезжал в свой первый пионерский лагерь. Миша по малости лет оставался дома. Серым бесцветным утром автобусы привезли нас, весело гомонящих школьников, на Павелецкий вокзал. Однако радостное возбуждение от предстоящей дальней поездки, пронзительных сиплых звуков горна, перестуков барабанов, команд пионервожатых, приятной тяжести новенького рюкзака за плечами и алюминиевой фляги на боку, которую мама перед отъездом обшила сукном (требование ко всем отъезжающим), быстро угасло. Унылое длинное и приземистое здание заштатного вокзала было переполнено. Люди ждали посадки, но состав почему-то никак не подавали. Пришлось стоять в общей толпе довольно долго, родители недоумевали. Тоскливое ожидание связалось в памяти с невысоким сводчатым потолком, нелепо толстыми и короткими колоннами, духотой и смешанным запахом махорки, паровозного дыма и хлорки.

Наконец состав подали. Мы погрузились в жёсткие плацкартные вагоны дальнего следования с плотно закрытыми пыльными окнами, где, наскоро распахав вещи и поспорив из-за желанных мест на откидных вторых полках, стали наперебой кричать через стёкла родителям и выслушивать их напутствия – поезд всё не отправлялся.

Внезапно в вагоне стихло: появился строгий начальник лагеря с необычной, запомнившейся мне фамилией Аликарий. Он встал поперёк прохода на нижние полки, широко расставив короткие, колесом, ноги в хромовых командирских сапогах, и громко произнёс слова, которые врезались в память на всю жизнь:

– Ребята, фашистская Германия сегодня пала на нашу страну. Война! – и он что-то добавил про Красную Армию и скорую победу над врагом.

Всех поразило это известие. Кто-то из младшего отряда в наступившей тишине заплакал. Поезд неожиданно, без предупреждающего гудка тронулся, и вскоре колеса застучали по рельсовым стыкам.

\* \* \*

Вообще-то о приближении неизбежной войны знали все. В переулках или на бульварах часто можно было видеть колонны марширующих в противогазах, а в школьных дворах – женщин с носилками и сумками с красными крестами. При домоуправлениях в подвалах появилось множество стрелковых тиров. В нашем, неподалеку от дома, где мы жили, я бывал часто. Малый возраст не препятствовал этому: плати и стреляй. Вместе с другими стрелками я залезал на дощатые нары и укладывался на старые телогрейки и одеяла. Справа от каждого места лежали заветные малокалиберные винтовки ТОЗ-8 с открытыми затворами. От них приятно пахло ружейным маслом, в полутьме тускло отливали синевой воронёные стволы. Я высыпал перед собой тяжёленькие маслянистые патроны и ждал команды инструктора. И она раздавалась привычной армейской скороговоркой с проглатыванием отдельных слогов: «Лёжа заряжай!» Вначале от волнения я не мог разобрать слов и воспринимал их как некий условный код: «Дежзарьжай!» Затем заталкивал патрон в патронник, смачно клацал затвором и поднимал увесистую, с массивным цевьём винтовку. Ярко освещённые мишени чётко виднелись вдали. Каждый стрелок целил в свою. Хорошо помню, как подводил чёрный срез прицела с мушкой в его прорези под «яблочко», оставляя чуть заметный, в ниточку, просвет. Важно было также «не завалить» винтовку вправо или влево. Отстрелявшись, все по команде спускались с нар и в сопровождении инструктора шли – а хотелось бежать! – к мишеням. Сильно мазал я только в первый раз. Но рубль – плату за пять патронов – давали мне дома нечасто. Почти столько же стоила пачка сливочного мороженого, так что приходилось стараться. Со второго раза дело быстро пошло на лад.

О надвигавшейся войне с немцами думалось с весёлым возбуждением. Никто не сомневался в скорой победе над хотя и опасной, но маленькой Германией, выделявшейся на политической карте

небольшим коричневым пятном неподалеку от нашей необъятной страны ярко-красного цвета. Всех моих школьных товарищей воодушевляли новые военные песни, сменившие прежние, о гражданской войне. «Матрос Железняк, партизан», «Орлёнок» и «Щорс» были забыты. Отовсюду звучали «Если завтра война», «Броня крепка, и танки наши быстры», походная артиллерийская. Моему патриотическому настрою способствовало и то, что осенью тридцать девятого Алика, мамино младшего брата, после школы забрали в армию. Это был знаменитый «ворошиловский призыв». Артиллерийский полк, где он начал службу, стоял в ближнем Подмосковье, в Кузьминках. Как-то в выходной день мы с мамой приехали туда, к палаточному лагерю в молодом сосняке, и увидели нового Алика, одетого в военную форму. Пока он разговаривал с мамой, я с жадным любопытством разглядывал его гимнастерку с петлицами, широкий солдатский ремень, пилотку со звездой. Воодушевившись, негромко запел, косясь на красноармейцев у КПП:

Артиллеристы, точней прицел!

Наводчик зорок, разведчик смел.

Врагу мы скажем: «Нашей Родины не тронь,

А то откроем сокрушительный огонь!»

Алик, к моей радости, прислушивался, продолжая разговор с мамой. Потом подозвал меня:

– Ты неправильно поёшь. Надо наоборот: разведчик зорок, наводчик смел. Когда ведут огонь по танку прямой наводкой и он катит прямо на батарею, для наводчика главное не зоркость, а смелость. – Лицо его вдруг осветилось неотразимой, только ему присущей улыбкой. – Согласен? – Он потрепал меня по голове и привычно подёргал щекой (семейная особенность!). Несмотря на неровный, порой капризный характер, Алика все любили: от него исходило необъяснимое, какое-то светлое обаяние.

Осознав смысл его слов, я почувствовал вместе с гордостью за молодого дядю лёгкий холодок в груди: дело-то в случае чего будет нешуточным. Но мгновенное прозрение быстро растаяло – бравые военные песни и марши вернули боевой пыл.

Мне нравилось рисовать бронетехнику, которая по праздникам с бодрым лязгом и грохотом катилась мимо нашего дома по улице Горького на парад. Особенно танки. Теперь на старых кинолентах они кажутся смешными, почти игрушечными. Но тогда к ним относились всерьёз, особенно к тяжёлой машине «КВ» с массивным корпусом, несоизмеримо маленькой, как куриная голова, башней и коротким орудийным стволом.

Алик прослужил в первый свой призыв недолго и меньше чем через год был комиссован с диаг-

нозом туберкулёз лёгких (впоследствии оказавшимся ошибочным). Весной предвоенного сорокового он после госпиталя снова оказался дома. Хорошо помню, как обрадовался я его возвращению. Вскоре, когда мы были с ним одни, он задумчиво, грызя по своему обыкновению спичку, заметил:

– Чапаев погиб, а был бы маршалом. Щорс погиб, а тоже был бы.

Признания такого рода не были характерны для нашей семьи. Чаще звучали критические замечания, и потому меня мучил разлад между тем, что я слышал дома и в школе. Другой мой дядя – старший брат Алика, высокий и стройный Михаил – особенно отличался в этом отношении. Когда он бывал в хорошем настроении, то любил, схватив меня или Мишку, весело закружиться посреди комнаты, потряхивая великолепным волнистым чубом и восклицая что-нибудь вроде: «Нам Германия нипочём, мы Германию кирпичом, шапками закидаем!»

<...>

С братом мы собирали подаренные тем же дядей Мишей, заядлым физкультурником, нагрудные значки, которых в то время было великое множество и которые принято было носить. В большинстве своём они подвешивались на короткие цепочки и высоко ценились при обмене в классе: ГТО, ГСО (санитарная оборона) и ПВХО (противовоздушная и химическая оборона) – самый крупный и красивый. Он так и сиял красной и голубой эмалью. Самым ценным считался «Ворошиловский стрелок» – его надо было заслужить по-настоящему.

В школе действовали военные кружки. В военно-морском, куда я записался, занятия вёл старшеклассник, сын красного командира. У него было длинное лицо с выступающей клином нижней челюстью. Я завидовал его внешности, сливавшейся каким-то образом в моём представлении с военно-морским флотом, и тайком перед зеркалом измерял линейкой свой подбородок. Парень был важен и немногословен. Лениво и снисходительно рассказывая о военных кораблях и судовождении, он постоянно употреблял специальные термины, не объясняя их значения. Но всё же именно от него я впервые услышал гордо звучащие для меня слова: норд, ост, зюйд, вест, шпангоут, румбы. Сколько градусов в румбе, он объяснить не удосужился. Поэтому никто не смеялся, когда на перемене кто-то из кружковцев, распираемый военно-морской удалью, исполнил куплеты: «Шестнадцать румбов влево, шестнадцать румбов вправо!» Дома я тотчас пропел их, как бы невзначай, перед Аликом, но он вместо одобрения расхохотался:

– Да что они, пьяные, что ли? Так ведь и с мостика слетишь!

С этим же парнем изучали противогаз. Однажды, когда мы практиковались в надевании этого тугого, крепко пахнущего и мокрого от чужого пота резинового изделия, он, к нашему удивлению, никак не мог натянуть его на своё длинное лицо: мешала «шведская» челюсть. Наверное, на том же занятии он написал мелом «иприт, люизит, фосген, дифосген». Страшные слова, которые, слава богу, канули в вечность: на войне газы не применили.

Вот я сижу на уроке и слышу, как уныло долдонит кто-то, заучивая стихотворение, в котором мальчик обращается к маршалу: «Слышал я, фашисты задумали войну, хотят они разграбить Советскую страну... Товарищ Ворошилов, ты, верно, будешь рад, когда к тебе на службу придёт мой старший брат... Мой брат стреляет метко, увидишь это сам, когда стрелять прикажешь на фронте по врагам».

А вот другое, похожее по духу и характерное для предвоенного времени. На затрёпанной странице учебника под ним картинка: наш красноармеец с винтовкой в классической стойке штыкового боя что-то кричит нападающему на него противнику. Он в будёновке и обмотках. Кто-то из старательных учеников обвёл его чернильным карандашом, а вражескому солдату замазал лицо фашистской свастикой: «В бою схватились двое – чужой солдат и наш. Чужой схватил винтовку, сразиться он готов... Посмотришь ты, как ловко встречаю я врагов! Постой, постой, товарищ, винтовку опусти, ты не врага встречаешь, а друга встретил ты. Такой же я рабочий, как твой отец и брат, кто нас поссорить хочет – для тех оставь заряд!..»

Начавшаяся война грубо опрокинула такие представления. О какой классовой солидарности и агитации могла идти речь во время наступления немцев летом сорок первого, когда они шли во весь рост с автоматами, стреляя от живота, на наши винтовки образца 1891/30 года?

\* \* \*

На станции Лебедянь, куда поезд прибыл на рассвете следующего дня, горела одинокая лампочка. Платформа была пустынна. Вскоре приехали подводы, запряжённые дюжими лошадьми. Приятно пахло дёгтем, сеном и конским потом. Погрузили вещи и посадили девочек, в том числе мою сестру Галю. Остальные отправились пешком. После продолжительного марша мы пришли в Троекурово, где в бывшем барском особняке и флигелях вокруг него среди старого липового парка помещался лагерь.

Пребывание в нём не оставило особого следа. Общее мрачноватое настроение, конечно, было связано с начавшейся войной. Угнетала и непривычная дисциплина – во время работ на колхозных полях, где помогали пропалывать бесконечные гряды, и во время купанья в Красивой Мече. (Название сразу заставило вспомнить Касьяна с этой реки – мама перед поездкой в лагерь читала мне тургеневские «Записки охотника»). Зато с тёплым чувством вспоминаю военрука и физкультурника Анатолия. Этот русоволосый атлет учил с разбега бросать учебную гранату на дальность, в момент броски специально цепляя себя ногой за ногу, и падать наземь (чтобы не поразил осколками). Помню, как великолепно крутил он «солнышко» на турнике, как учил экономить воду во фляжке под палящим солнцем, когда работали на полях, и как по его свистку мгновенно прятаться в кустах на случай авианалёта. Спустя месяц после прибытия в лагерь в липовом парке по распоряжению Аликария для нас были отрыты глубокие траншеи. Они тянулись резкими зигзагами, и я спросил Анатолия, для чего это. Его ответ поразил жёсткой правдой:

– Ты чего, недогадливый? Для того чтобы осколки от бомбы или снаряда, если они, не дай бог, угадают в траншею, не секли бы вдоль неё и не калечили остальных. – Толя спохватился и смущённо взглянул на меня: не брякнул ли лишнего?

Гуляя с нами, он любил повторять, что к концу лета наши босые ступни так затвердеют, что можно будет бегать по битому стеклу. Добрый был мальчик! После пионерлагеря он наверняка попал на фронт. Дожил ли Толя до победы?

В конце июля, когда вторая смена должна была закончиться, Аликарий объявил на общей линейке, что ввиду начавшихся налётов на Москву все останутся здесь на неопределённое время. Поначалу я очень скучал по домашним, но через месяц свыкся с разлукой и успокоился. Поэтому, когда услышал, что останемся в Троекурове надолго, стал приглядывать длинные склоны, с которых зимой буду кататься на лыжах.

Грусть возвращалась, когда я открывал чемодан достать смену белья. Старенькая, но заботливо выглаженная одежда живо напоминала маму. А сам чемоданный дух! Когда я, сидя в каптёрке, распаивал крышку этого памятного ещё по курскому детству обшарпанного чемодана, он одурманивал меня: пахло одновременно и домом, и дальней дорогой. Настоявшийся, чуть приторный запах залежавшегося, хотя и чистого белья, яблок и печенья, которые я давно съел... Я доставал со дна мамы письма, перечитывал их и радовался дорогому, иногда не очень-то разборчивому по-

черку. О войне ни слова, только милые домашние радости.

<...>

В первых числах августа по лагерю разнёсся слух, что скоро всех вывезут в Москву. Причиной тому (в это невозможно было поверить!) было стремительное наступление немцев и риск оказаться отрезанными от родного города. Наверное, услышав об этом, я увидел вещий сон. Хорошо помню его: по чугунному корявому небу с надсадным гулом густо летят чёрные фашистские бомбовозы, и меня пронизывает ощущение, что всё погибло, что я остался один на белом свете... Страшное видение это, несколько видоизменяясь, как оборотень, возвращается ко мне во снах по сию пору. А ведь в то время никто из нас не испытал ещё ночного налёта и не видел немецких самолётов!

Смешно сказать, но меня после этого кошмара успокоила надпись на случайно подвернувшейся спичечной коробке. Краткие и убедительные слова Молотова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

\* \* \*

По дороге в Москву меня, как и многих, охватила шпиономания. Вражеские лазутчики мерещились повсюду. На станции Лебедянь в ожидании поезда показался подозрительным какой-то пожилой деревенский мужик с деревянной ногой, развалившийся на своих узлах. Я тотчас сообщил о своих подозрениях физоргу Анатолию. Но тот только устало улыбнулся в ответ. Много лет спустя в военных лагерях я насмешил рассказом об этом своих университетских друзей. Мы смаковали тогда короткий стишок из армейской малотиражки «Тревога». Какой-то солдатик открыл свою душу: «Радость будет или грусть, детства ль вспыхнут впечатленья – я пойду и поделюсь с командиром отделения». Кто-то из острословов тотчас досочинил: «Это очень мрачный тип, видно, враг народа. Я пойду и поделюсь с командиром взвода».

Москва, когда мы вышли из поезда, оказалась не такой, какой оставили её полтора месяца назад. Окна домов были заклеены крест-накрест бумажными полосками, народу на улицах поубавилось.

Нас встречали автобусы. По дороге к Рождественке, где располагалась мамина работа, проезжали Театральную площадь. Кажется, именно там (или у Павелецкого вокзала?) мы увидели выставленный на обозрение сбитый немецкий бомбардировщик чёрного цвета – «Юнкерс-88», со свастикой на хвосте в жёлтом круге и белыми крестами

на крыльях и фюзеляже. Все жадно рассматривали его. Распластанный, с низкой посадкой, хищный – он вызывал опасливое уважение.

У входа в высокое здание наркомата, у стремительно уходящего вниз, к Неглинной, вымощенного булыжником переулка, нас встречали родители – пёстрая толпа одетых по-летнему людей. И мы с Галкой попали в родные крепкие объятия. Мама была ещё совсем молода и хороша собой, с необыкновенно милой короткой стрижкой по моде тех лет, в своём выходном ситцевом с жёлтыми цветами платье.

Вечером она и остальные взрослые нашей большой семьи наперебой рассказывали о первой бомбёжке Москвы 22 июля. Несмотря на то что в город сквозь огневое заграждение прорвалось лишь несколько самолётов, зрелище было фееричное. После разноголосого воя сирен забухали зенитки и басовито застучали счетверённые зенитные пулеметы с крыш соседних высоких домов. Тёмное небо расцвели очереди трассирующих пуль и двигающиеся лучи прожекторов. Но вопреки всей этой суматохе сверху слышался гул уверенно проплывающих чужих самолётов. Неожиданно прожектористам удалось поймать один из них, и они повели его в скрещенных лучах – первый вражеский бомбардировщик, который наши увидели воочию. Ярко освещённый, он казался белым, со вспыхивающей отражённым светом кабиной. Летел он, не меняя курса и не делая противозенитных манёвров, словно был уверен в полной безнаказанности. Скорострельная 37-миллиметровая пушка с крыши высоченного дома артистов в Глинищевском переулке задыхалась от бессильной ярости: её трассирующие снаряды всё время опаздывали.

В отдалении раздалось несколько тяжёлых, раскатистых взрывов. Они резко отличались от выстрелов зенитных орудий, и все со страхом догадались, что это сброшенные бомбы... Но ни один прорвавшийся в ту ночь самолёт сбить не удалось.

\* \* \*

Вскоре мама с Андреем сумели снова отправить нас из Москвы – подальше от бомбёжек. Андрей Сергеевич (Андрейка, как мы ласково называли его) перед войной заменил нам папу, арестованного в тридцать седьмом и исчезнувшего навсегда. Около станции Заветы Ильича по Ярославской железной дороге в высокоствольном хвойном лесу находился дачный посёлок, построенный незадолго до войны для городской элиты. Одинаковые маленькие домики были вольно разбросаны под сенью огромных сосен и елей.



Никаких изгородей, садов и огородов. К нашему приезду посёлок практически опустел: фронт приближался, люди думали о спасении семей и имущества. Только этим можно было объяснить, что дачу удалось снять за гроши.

Галка, Мишук и я стали жить под присмотром старой женщины, явившейся из счастливого до-революционного детства Андрея. Знакомя нас с ней, он шутливо произнёс: «Фройляйн Вебер – Эличка».

Эличка была бонной в семье крупного инженера, одного из строителей Сибирской железнодорожной магистрали. На протяжении многих лет она воспитывала сначала старших братьев и сестёр Андрея, потом и его самого. В восемнадцатом году большую и дружную семью разметало революцией, след Элички потерялся. Андрей разыскал свою состарившуюся одинокую «фройляйн» только перед началом войны.

Эличка кормила нас, заботилась, учила обиходному немецкому и некоторым непреложным истинам из своего детства в мирной кайзеровской Германии. Например, чтобы организм получал дополнительную порцию полезного ему железа, надо в яблоки, перед тем как съесть, на время воткнуть гвозди, выделяющие ценную ржавчину. Или – «один укус хлеба на шесть ложек супу». О яблоках в Заветах Ильича мы, понятное дело, уже забыли,

а совет насчёт расходования хлеба пригодился поздней осенью, когда начался голод. Правда, как я ни старался, драгоценный хлеб растворялся во рту уже на четвёртой ложке.

По выходным, а часто и в будни, после работы приезжали мама с Андреем, Алик и Мушка – мамина сестра и мать Галки, маленькая, худенькая (отсюда и ласковое прозвище), но чрезвычайно энергичная женщина с «очень крепким» характером, растившая дочь в одиночку.

Это была короткая, но прекрасная пора – вольная воля, которую я остро ощущал после несвободы пионерского лагеря. Вокруг лес, в вершинах старых сосен и елей гуляет ветер. Глядя, как качаются их кроны, мама вспоминала пушкинские «шум и шорох их вершин»... Неподалёку затаилась под склонившимися ольхами и черемухами Серебрянка, по песчаному дну которой гуляли стаи пескарей, а в тихих глубоких заводях застыли жёлтые кувшинки. С Аликом мы разведали потаённую лесную тропу, которая привела нас на обширное моховое болото с клюквой. Вблизи одного из «окон» – небольшого озерка – мы с Мишухой раскачали по совету Алика вязкий моховой покров и испытали весёлый ужас, когда увидели, что от нас во все стороны расходятся зелёные волны вместе с кочками и чахлыми сосенками.

Ноги постепенно засасывало, и стало понятно, что подо мхом прячется глубокая вода, а мы стоим на трясине. Она источала особенный, ни на что не похожий запах потревоженного сфагнового мха. Здесь я узнал вкус перезимовавшей и новой, недозрелой клюквы, нити которой, как красные бусы, оплетали подушки кочек.

Однажды на берегу Серебрянки Мишук нашёл мёртвую черепаху. Её выпустили, вероятно, уезжавшие дачники, и она погибла, не выдержав непривычно свежих утренников. Алик решил положить её в муравейник, чтобы муравьи очистили скелет и панцирь. Мы перешли реку по поваленной берёзе и углубились в лес. Муравейников попадалось много, но дядюшка хотел найти подходящий в самой чаще, подальше от зарастающей тележной дороги. Такой муравейник нашёлся, и мы зарыли в него наш трофей.

На обратном пути Алик пошёл крутыми зигзагами, изредка делая топориком боковые и лобовые затёски на деревьях: намечал тайный путь к заветному муравейнику. Найти его можно было лишь при условии, если плотно прижиматься щекой к каждой очередной затёске. Только в этом строго определённом положении можно было увидеть в отдалении сквозь сплетение ветвей белое пятно следующей метки.

Черепашу решено было выкопать через пару недель, чтобы муравьи успели сделать свою ра-

боту. А до этого в тёплые солнечные дни Алик закалял себя и меня: в одних трусах бегали сквозь чащу молодого ельника, продираясь сквозь хлещущие зелёные лапы.

Он любил проказить и однажды, когда Эличка куда-то ушла, предложил нам сварить суп из топора – как в сказке про находчивого солдата. Сказано – сделано. Мы тщательно вымыли его походный топорик с отполированным от долгого употребления красиво выгнутым деревянным топорищем и опустили в закипающий бульон. Всё было бы прекрасно, но к моменту, когда суп был готов и мы приготовились разливать его по тарелкам, появилась Эличка. Таких шуток она не понимала. А шестилетний Мишук расстроился, что не отведал настоящего сказочного супа.

В один прекрасный день в лесу на той стороне Серебрянки стало шумно: пришли люди с пилами и топорами и сделали широкую засеку.

Тёмные ели и начинающие желтеть берёзы лежали вповалку крест-накрест, образовав серьёзное препятствие для немецких танков. Но рубщики скоро ушли, танков не было (да и не верилось, что они вообще могут появиться!), и снова воцарилась тишина с голубым осенним небом и летящей серебристой паутиной. С братишкой и Галкой до наступления холодов мы любили по пути в лес пробираться через эти завалы и качаться на упругих толстых сучьях берёз в потоках золотой листвы.

Ближе к середине сентября приехал из Москвы Волик – племянник Андрея, на редкость обаятельный и вдумчивый мальчик. В сельской школе как раз начались занятия, и мы с ним и Галкой стали ходить в четвёртый класс. Тропинка в школу вела через пустовавший дачный посёлок, и мы – чего греха таить? – заходили в недавно опустевшие дачи поискать что-нибудь стоящее среди брошенного хлама. Возле одной из них к нам вдруг выбежал молодой и весёлый кобель немецкой овчарки, брошенный или забытый спешно уезжавшими хозяевами. Он страшно радовался встрече, прыгал, пытаясь лизнуть в лицо, всячески ласкался и широко улыбался белозубой пастью. Пёс проводил нас до школы, дождался, пока мы не пошли обратно, и вместе с нами прибежал к дому. Радости моего братца не было конца, но Эличка призадумалась: осиротевшего породистого пса надо кормить, а мы жили на всём привозном, и ей приходилось экономить. Нового друга наугад назвали Джеком, он участвовал во всех играх и охотно отправлялся с нами в лес. Мы подумывали о том, чтобы взять его в Москву. Но вскоре Джек исчез. Может быть, за ним вернулся хозяин, а может быть, сманил кто-нибудь из местных.

В начале октября за горизонтом стало погромычивать. С каждым днём пушечный гром звучал всё сильнее. Мама, приезжая вечерами, рассказывала, что немцы быстро наступают, что в Москве собирается ополчение, что многих, особенно студентов, посылают на трудовой фронт – рыть противотанковые рвы и строить укрепления. <...>

Немецкие бомбардировщики (довоенное слово «бомбовозы» было забыто), как говорили на станции и в очереди у хлебного ларька, стали появляться даже днём. Алик давно не приезжал, и я понял, что время весёлых прогулок по лесу ушло безвозвратно. Какая уж тут черепаха? Фронт, о котором на время забыли, приближался. Бомбёжки в Москве участились, и мы нередко, особенно в тёмные безлунные вечера, когда звёзды над нашим домиком мерцали сквозь вершины высоких сосен, слышали характерный прерывистый гул тяжело нагруженных немецких бомбардировщиков, идущих на Москву. Когда они, уже налегке, возвращались, звук моторов не был прерывистым, а лишь плавно менял громкость. Различие это знали все и по звуку определяли, идут ли самолёты на бомбёжку или уже отбомбились.

Немцев, казалось, ничто не могло остановить. И эта трагическая действительность так не вязалась с победными предвоенными песнями вроде «А если к нам нагрянет враг матёрый, он будет бит повсюду и везде...» Почему же отступаем? Это не укладывалось в голову. Впрочем, мысли подобного рода меня в том возрасте не могли долго волновать. Отчётливо помню, что гнетущего страха не было вовсе. Наоборот, настроение у меня и моих одноклассников было приподнятым: калейдоскоп сногшибательных событий будоражил воображение. То по радио сообщали, что «под натиском превосходящих сил противника наши войска оставили город Киев», и я, прогоняя идиотскую улыбку от удовольствия, что сообщаю эту новость первым, ошарашил ею мальчишек и девочек в классе. То становилось известным, что совсем недавно в ночном бою вблизи Москвы наш истребитель геройски сбил тараном «юнкерса». То кто-то из ребят приносил в класс длинный, тяжёлый и корявый осколок зенитного снаряда – в Заветах Ильича это ещё была редкость.

Неожиданно выпал первый снег и не спешил таять. После занятий я на скорую руку вытесал себе из старых штатетин лыжи. Но покататься на них не пришлось.

На следующий день произошло из ряда вон выходящее событие. Во время урока над школой с оглушительным рёвом низко пронёсся самолет

и страшно задребезжали стёкла. Ребята, которые сидели у окон, возбуждённо заорали, что это немецкий – с крестами. Почти в ту же секунду тяжело грохнул взрыв у железнодорожного полотна метрах в двухстах от бревенчатого двухэтажного здания школы, и в классе чудом не вышибло окна. Урок прервался. Все оцепенели, кто-то испуганно или нарочно занял. В класс стремительно вошёл директор. Выдержав паузу и обведя нас глазами, он спокойно и твёрдо сказал, чтобы мы без паники, по одному, быстро отправлялись по домам, а если самолёт налетит снова – бросались бы на землю. Лучше в яму или придорожную канаву.

Ученики высыпали во двор и молча стали расходиться. Мне не терпелось взглянуть, куда попала бомба, и, когда Галка ушла, я уговорил Волика сбежать вместе через футбольное поле к железнодорожным путям. Воронку мы увидели тотчас же. Как ни странно, любопытных возле неё не оказалось. Бомба упала буквально в пяти метрах от рельсов, не повредив их. Яма была глубокой, и в ней, как в цветочном горшке, лежала изуродованная взрывом сосна. Её толстый ствол наискось срезало то ли самой бомбой, то ли осколками. В воронке ещё не рассеялся дым и стоял знакомый горьковатый запах взрывчатки.

Надо было спешить домой, чтобы не волновать Эличку. Обсудить случившееся не удалось: Волик реагировал вяло и вдруг, к моему удивлению, беззвучно заплакал. В молчании мы пошли домой, но ещё на подходе нас ждал новый сюрприз. На мокром снегу чётко отпечатались следы женских туфель и больших сапог – к нам пожаловали гости. Ими оказались Алик и сопровождавшие его две молодые симпатичные девушки – Машура и Ануся, племянницы Андрея. Они приехали забрать нас в Москву. Отсиживаться дольше в Заветах Ильича было нельзя: немцы подходили к столице.

К вечеру, собрав пожитки, мы распрощались с милой лесной дачкой и в ранних сумерках отправились на станцию. Там нас огорошило известие, что уехать можно только из Пушкино, расположенного ближе к Москве, так как через Заветы Ильича движение электричек временно прекращено. Пришлось идти пешком несколько километров. Синие сумерки сгущались. Белел и начинал хрустеть под ногами подмерзающий снег. Старая Эличка не могла двигаться быстро, поэтому до печально мигающих огней Пушкино шли долго. Мишку, когда он уставал, Алик сажал себе на плечи. Машура и Ануся пытались шутить, чтобы подбодрить всех.

На обледенелой платформе скопилась масса людей: поездов не было. Простоять пришлось не-

сколько часов, мы стали замерзать. Согревало лишь тепло толпы. От невесёлых мыслей отвлекал Волик, который стал пересказывать книгу о немецких антифашистах. Он недавно вернулся со старшим братом и матерью из Якутска, где прожил несколько лет, и делал вид, что холод ему нипочём.

Наконец состав подали. Что тут началось! Свалка, ругань, крики. Не помню уж, как очутились мы в тёмном неосвещённом вагоне, плотно набившись в проходе. Но только стали отогреваться, как объявили, что электричка никуда не пойдёт, – надо выгружаться. Алик одним из первых протолкался к выходу и вскоре появился на платформе перед нашим окном. С трудом приоткрыв его, Машура с Анусей просунули ему на руки спящего Мишутку. Нашему примеру последовали другие, и плачущие детишки избежали страшной давки.

Только поздним вечером вышли мы на перрон Ярославского вокзала. Ночная Москва в затемнении показалась ещё более суровой, чем была в начале августа, когда мы вернулись из пионерлагеря. В раскинувшемся над неосвещённым перроном и тёмной громадой вокзала звёздном небе вспыхивали и тотчас гасли необычно яркие звёзды, и оттуда доносились глухие и частые хлопки разрывов: зенитки вели беглый огонь по невидимым немецким самолётам. Трамваи не ходили, метро не работало, так что пришлось с Каланчёвской площади топать пешком через тёмный, наспуленный, будто нежилой город, слабо освещаемый двигающимися по небу голубоватыми лучами прожекторов. Меня поразило, что витрины магазинов заложены высокими штабелями мешков с песком. Особенно дико было видеть их у недавно шикарного Елисеевского гастронома, расположенного на улице Горького рядом с нашим домом.

В большой передней нас встретили измученные ожиданием мама, Андрей, Мушка и дядя Миша. В глубине длинного коридора замерли, как мумии, прижавшись спинами к стене, пожилые, вечно недовольные нами «тётушки», точнее, двоюродные бабушки. Очередной налёт продолжался, зенитки бухали не переставая, и тётя Леля с тётей Аней переживали опасность в коридоре, подальше от окон. При нашем появлении они насупились и отвернулись.

Войдя в комнату, окунулись в домашнее тепло. Пошли объятия, поцелуи, расспросы. Низко висящий над обеденным столом большой, обтянутый жёлтым шёлком с бахромой абажур из маминого детства окрашивал всё вокруг неярким тёплым светом. Только высокий потолок с лепниной и старинная мебель вокруг тонули в прият-

ном сумраке. С продуктами было ещё терпимо: несмотря на введённые недавно карточки, пока торговали коммерческие магазины, и мы после всех мытарств наелись, наконец, до отвала и напились горячего крепкого чаю.

\* \* \*

В тот насыщенный событиями памятный день 16 октября, когда мы возвращались из Заветов Ильича, в Москве была паника. (Слово это, учитывая его историческую значимость для москвичей, можно было бы писать с большой буквы как имя собственное.) Из города стремительно уезжало и уходило всё, что могло передвигаться. Контора «Росглавпаток», помещавшаяся в нашем подъезде двумя этажами выше, в которой работала мама, в тот день эвакуировалась. Начальство с семьями грузилось на машины, захватив всё, что можно было увезти. Но перед этим, ещё утром, в спешном порядке состоялось партийное собрание. Отбывающие на восток начальники всех мастей, включая председателя месткома и секретаря парткома, одетые по тогдашней моде во френчи и фуражки защитного цвета, клеймили позором нескольких беспартийных сотрудников-белобилетников, якобы уклоняющихся от фронта. Они гневно требовали, чтобы те немедленно записались в народное ополчение. Сами же к вечеру покинули столу – руководить переброской конторы в тыл. Мама видела своими глазами, как до слёз краснели полубольные люди и, загнанные в угол, обещали на следующий день пойти в военкомат. Почти все они, в том числе мамин руководитель, инженер средних лет с большим сердцем, которого я хорошо помню, вступив в ополчение, в скором времени полегли «в белоснежных полях под Москвой».

В последующие дни мы выходили слушать канонаду. Глухая и почти непрерывная, она доносилась вдоль улицы с северо-запада, со стороны Белорусского вокзала. В очередях шёпотом передавали самые невероятные слухи: что немецкие танки прорвались в Химки и через час появятся на улицах Москвы, что ночью во время налёта, стремясь уничтожить здание ЦК ВКП(б) на Старой площади, немцы вместо бомбы сбросили особую торпеду, которая, упав, проскакивает под землей несколько кварталов и над её подземным следом взрываются все здания.

На Тверском бульваре, куда мы обычно ходили гулять, в оцепленной зоне разместили аэростат воздушного заграждения, имеющий вид огромной серебристой бомбы со стабилизатором. Рядом с ним на газонах отрыли землянки и в них

поместили службу – девушек в военной форме. В ясные вечера аэростат в числе множества других подымался высоко в небо, туго натянув трос, за который он был прикреплен. Для налетающих самолётов опасность представляли не сами аэростаты, а именно тросы, неразличимые в темноте.

Аэростаты наполнялись газом из надутой цилиндрической ёмкости, которую в обиходе называли «колбасой». Её приносили и на наш бульвар: команда девушек в шинелях, пилотках и сапогах держала концы верёвочной оплётки, а тупорылая «колбаса» величественно плыла невысоко над их головами. Стоя в очереди, я как-то услышал, что однажды такая штукавина унесла за облака девушку, которая при аварии не успела выпутать руку из верёвочной петли.

В самом начале Тверского бульвара, возле памятника Пушкину, на случай уличных боёв за одну ночь был сооружен дзот – дерево-земляная огневая точка. Его амбразура хмуро смотрела на Пушкинскую площадь. (Памятник стоял тогда на своём законном месте. На противоположную сторону улицы Горького, где он находится сейчас, его передвинули непонятно зачем в конце сороковых, глубоко разрыв каменистый грунт. Тогда шутили, что копать начали в поисках корней космополитизма.)

Для застывшей в страшном ожидании опустевшей Москвы характерны были настенные красочные плакаты. Среди них выделялся «Родина-мать зовёт!» работы талантливого Тоидзе. Он занимал всю торцовую часть четырёхэтажного дома рядом с Центральным телеграфом и был хорошо виден с улицы Горького. В большинстве же эти плакаты – «Окна ТАСС» – представляли собой карикатурные изображения Гитлера и его воинства и сопровождалась снисходительно-насмешливыми четверостишиями: «Фюрер алчно пялит очи через надолбы и рвы, из бинокля ошень-ошень, ошень близко до Москвы!» Или: «Бьёмся мы здорово, рубим отчаянно – внуки Суворова, дети Чапаева» <...> Один из плакатов запомнился жуткой картиной: гитлеровский солдат проваливается под лёд. Внизу текст: «... И в полынье встречая фрица, гремя железом ржавых лат, встаёт со дна тевтонский рыцарь и говорит: "Постой, солдат. Скажи, потомок, неужели германцы, родичи мои, за семь веков не поумнели, что с русскими ведут бои? Меня на льду славяне били, теперь тебя славяне бьют... Вы что, историю забыли, теперь её не признают?" – Был глухо слышен голос фрица, уже идущего под лёд, – нам у истории учиться безумный фюрер не даёт!»

В те дни по радио часто звучала песня про ополченцев. Встретившись с Воликом, мы пошли



однажды смотреть на их ускоренное обучение во дворе бездействующей школы неподалёку от нашего дома. В большинстве своём это были пожилые люди либо совсем молоденькие студенты в очках. Ловкостью и сноровкой ни те, ни другие не отличались. С ними занимались строевой подготовкой, показывали, как надо окапываться, обучали приёмам штыкового боя. <...>

Тогда же в октябре у нас неожиданно появился племянник Андрея Миша Ястребов, недавно добровольцем ушедший на фронт, – восемнадцатилетний крепыш с сосредоточенным выражением волевого лица и неожиданно добрым, наивным взглядом. Он был в затянутой ремнём ши-

нели, смущённо держал в руках шапку-ушанку и винтовку со штыком, которую затем осторожно поставил у двери, легонько стукнув прикладом об пол. Миша попросил вечером позвонить домой на Малый Левшинский и сообщить, что у него всё в порядке. Андрею сказал, что спешит, чаю пить не будет: отлучился на минуту. Потом тихо добавил, что находится совсем рядом. Их секретное подразделение истребителей танков круглосуточно дежурит в засаде в полуподвале, который своими низкими окошками глядит на кинотеатр «Центральный» на другой стороне улицы Горького. Он ещё понизил голос и сообщил, что вооружены хорошо: у них противотанковые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, пулемёт.

Рассеянно прислушиваясь, я разглядывал пахнущую смазкой боевую винтовку и старался понять, как крепится к стволу длинный четырёхгранный штык. Помню, что не утерпел и упросил уже в передней уходящего Мишу снять и снова прикнуть его к воронённому стволу.

– Ну, дядя Андрюша, – коротко выдохнул за моей спиной Миша. Они обнялись.

Закрывая входную дверь, я смотрел, как он резво побежал вниз по истёртым каменным ступеням. Последнее, что запомнилось, – колючий блеск кончика штыка над его ушанкой.

*Продолжение читайте в следующем выпуске нашего журнала.*



## Об авторе

*Александр Александрович Константиновский родился 30 ноября 1930 г. в Воронеже. После окончания географического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова работал в Таджикистане, Приамурье, в Алданской и Колымской экспедициях Всероссийского аэрогеологического треста, участвовал в среднемасштабной геологической съёмке (Южное Верхоянье, хребет Джугджур, Приколымье, хребты Момский и Черского). Внёс существенный вклад в изучение стратиграфии и тектоники названных районов. С 1972 г. работает в ЦНИГРИ.*

*В 1991 г. А. А. Константиновский защитил докторскую диссертацию, посвящённую геолого-генетическим основам поисков месторождений алмазов и золота на территории бывшего СССР. Опубликовал более 70 научных работ. Его имя хорошо известно специалистам в нашей стране и за рубежом.*

Иллюстрации автора